

Борис Екимов

УТРЕННИЕ БЕСЕДЫ

Житейские истории



Борис Петрович Екимов родился в 1938 году в городе Игарке. Окончил Высшие литературные курсы. Работал на заводе, учителем в школе. За свою многолетнюю писательскую деятельность создал более 200 произведений. Лауреат Государственной премии РФ, премий им. И.А. Бунина, им. А.И. Солженицына, Международной Платоновской премии. Член Союза писателей России. Живет в Волгограде.

ВЕСЕННЕЕ

Пора весенняя. Подъехал к Дону на место привычное. Малый тихий затон и просторное могучее русло реки. По берегу — вербы, тополя, тутовник, камышовые заросли.

Вода, ветер, тишина. Высокие белые облака. Далекий голос кукушки. Чаек полет. Огромный развесистый тополь — ветеран здешних мест. Морщинистое корье. Дух свежего молодого листа. Легкий ропот вершины. Там бродит ветер.

В первые минуты все это словно оглушает после улиц, домов, людей, машин даже невеликого нашего поселка.

Тишь нерушимая. С мягким плеском волны, горлицы воркованьем, шелестом береговых камышей.

Жесткая кора тополя в глубоких морщинах. Прислониться к нему, голову поднять, утонув взглядом в зеленом просторе. Гранитный камень-валун на урезе. Прозрачная вода. Волна за волной со всхлипом набегают на галечный, щебенистый берег.

Мягкий речной ветер словно вымывает из головы все суетное, житейское: домашние заботы, душевные смуты, тревоги о нынешнем, завтрашнем... Обнимает и принимает тебя мир иной: вечное небо, могучие воды, которые текут и текут — не считая лет, нескончаемо. Зеленая весен-

няя земля стелется вдаль и вдаль, смыкаясь с небесной синевой и утопая в ней.

Все это было и будет. Облака, неторопливо плывущие в незримую даль. Куда им спешить...

И даже старый тополь, которому отмерен срок; даже он кажется вечным: необъятная зеленая крона, могучий ствол, разлапистое подножье. Сидишь, прислонившись спиной к теплому стволу. Сладкая дрема. Все не сон: все слышишь, все чувствуешь, но словно растворяешься в этом покойном мире, становясь малой малостью.

Так бы и уйти, когда настанет твой срок. Не страшась, не плача, а просто возвращаясь в земной простор песчинкой его. После долгих счастливых дней, таких, как сегодняшний.

Теплый ветер, свежесть воды, а над нею — белых чаек полет: быстрый, бесшумный, чарующий — взгляда не оторвать.

Легко, лишь покачивая крыльями, чайки взмывают, парят, ловя встречный ветер, — круто пикируют, стремительно над водой несутся, и снова — в небо.

Ладное невеликое тельце, узкие, с надломом крылья. Бесшумный лет. Вот она пронеслась над водою, что-то ухватив, и тут же взмыла без замаха крыл. Мгновение — и она уже в небе. Словно отдыхая, недолго парит там, покачивая крыльями. Стремительный нырок, полет над водой. И крутой дугой — снова в небо. Одна чайка, другая, третья... Завораживающее зрелище. Глаз не оторвать.

Но так нестати, разрушая покой и мир, от далекого неба доносится все нарастающий гул самолета. Вот он все ближе. Теперь уже рев ли, грохот уши закладывает. А потом и вовсе — все потрясающий взрыв.

Чайки упали на воду. Смолкла горлица. Страх холодит душу. Хотя, слава Богу, это еще не бомба. Это, как разъяснили, обычный переход самолета на какую-то немислимую скорость.

Вот оно — достижение людского разума. Триумф научной мысли и новейшей техники. Достигли...

Самолет уходит кого-то еще не только пугать, но, наверное, бомбить, стрелять, убивать. В таких делах у людского племени и впрямь немислимые достижения: не меч, не копье ли, лук, когда сходились на поле брани с вождем во главе. Нынче — иное: одним махом — сотни, тысячи, а порой миллионы душ...

Полетел... Скольких людей он погубит: не только воинов, но детей, стариков, матерей и жен, их дома, их жизнь.

В нашем тихом поселке стал привычным угрюмый и тяжелый самолетный гул. Гудят и гудят. Летят и летят. А порой, словно нынешний, взрыв. Стекла звенят, двери открываются. Особенно пугаются старые люди. Кто-то из них еще помнит войну: бомбежки, разбитые и сожженные дома, гибель родных, боль и кровь.

Помню и я, почти через век, но помню свое и чужое: сиротство с голодом, холодом, нищетой. Пустые щи из травы-лебедеды, зеленая каша из вязового листа, черные желудевые лепешки вместо хлеба. Убогие мазанки и землянки вместо домов. Сирая одежда из мешковины да колючего шинельного сукна. Это была война. И разве думалось, что может все повториться: людская боль и людская кровь. И вот уже на наших кладбищах плачут матери, вдовы, а рядом испуганная детвора — новые сироты. Боги мои, боги... Чего же нам опять не хватило на такой просторной и щедрой земле.

Гул самолетный утих, истаяв в далеком небе. Чайки, молчаливо поднявшись с воды, улетели, ища покоя.

И мне пора уходить, оставляя приятное место возле тихой воды и старого тополя.

Уйти, и в суете житейских дел и забот развеять смутное.

Нынче пора весенняя. Скоро зацветут сады: снежная вишневая бель да розовая яблонева полонит округу, встанут белыми храмами могучие груши-«дулины», раздвигая ночную тьму.

Донская степь полыхнет ненадолго лазоревым алым цветом.

Придет время стрекоз. Люблю их легкий бесшумный полет, чуть шелестящий, сияющий радужными переливами прозрачных крыл в солнечном дне.

После майских дождей поднимется степное разнотравье с пахучим сиреневым цветом шалфея, чабора, цветущего вязиля да горькой полыни. Придет пора сенокоса. Разве не радость?

Но всякий день, особенно вечерами и по ночам, угрюмо гудят и гудят в небе тяжелые самолеты.

НА ПРОГУЛКЕ

Ранним утром, по старой привычке, хожу я гулять. В городской жизни — по набережной, над Волгой. Хорошо здесь: зелень деревьев, цветы, свежий речной ветер. И не один я — ранняя птаха — в этом походе. Бегуны, любители скандинавской ходьбы с палками и такие как я — просто гуляющие. Так что утренние городские прогулки — это еще и встречи с людьми знакомыми и полусзнакомыми. С улыбкой приветствия, порою — беседы, новости.

Иное дело — поселок. Здесь моя утренняя прогулка — в безлюдье. Одна тихая улица да другая. Народ не проснулся. К ранним прогулкам ли, пробежкам нет привычки.

Но каждый день, ранним утром, здороваюсь я с человеком странным.

Заметил я его весной. Пустая улица, а возле кирпичной стены заброшенного строения человек возится: веник у него, совок. Метет, убирает. Хотя строение брошенное. Какая тут уборка?

Прошел я, поздоровался, поглядел, а на обратном пути замедлил шаг, разглядев какие-то площадки, расставленные вдоль стены. Более любопытствовать не стал. Зачем тревожить человека пожилого, по виду — большого ли, изможденного лицом и телом. И одежонка на нем — тряпье.

В другой раз увидел я кошек, которые жили в этой кирпичной развалюхе с зарешеченным проемом в стене. Не для них ли хлопотал этот странный человек?

Оказалось — для них. Жил он где-то не рядом. Видел его бредущим с костыльком и сумкой. Он приходил, наводил порядок у кирпичной стены, подметая. Наполнял площадки водой и каким-то питанием. И тогда объявлялись кошки, выбираясь из своего кирпичного приюта.

В один из дней этот человек обратился ко мне: «Закурить не найдется?» — «Не курю», — ответил я, приостанавливаясь и убеждаясь, что первое мое впечатление было верным: человек старый, больной или тяжко измученный несладкой жизнью. Иссохшее, в кулачок, лицо с остреньким носом, потухшие глаза, костлявые плети рук, черное от загара или вечной грязи тело — словом, бедолага, такой же как эти бездомные кошки, которые кружились вокруг него.

В ранние часы мы встречались, здоровались. Когда я припаздывал, его уже не было. Но площадка возле стены подметена, чашки с водой наполнены. Две кошки греются на крыше, под солнцем, как видно, сытые. А из зарешеченного проема в стене выглядывают славные мордахи котят. Там у них — картонная коробка, для отдыха. Занавеска от солнца. И даже, для игры, на веревочке — тряпчатая мышка. А от земли, к проему, в жиле кошачье поставлена досточка, вроде трапа. Не по кирпичной же стене карабкаться, особенно котяткам.

Все это я разглядел, остановившись, когда хозяина не было.

А обычно я лишь здоровался с ним и проходил мимо. Картина была привычная: две ли, три кошки, ласкаясь, терлись у ног своего кормильца; малых котят он брал на руки, сажал на плечи, прижимаясь щекой к живому теплу.

Я даже ускорял шаг, чтобы не тревожить, не мешать этому недолгому часу свиданья: часу тепла душевного для бездомных кошек и сирого человека.

* * *

В новом доме соседом у меня оказался старый знакомый. У него — собака-лайка, лет преклонных. Когда-то он с ней охотился. Позднее по выходным ездил за Дон: по холмам да глубоким балкам побегать, вспоминая прошлое.

Но в пору нынешнюю и собака сдала, и хозяин прихварывал. И мы часто по утрам стали встречаться. Вместе гуляли неспешным ходом, потому что собака то травку искала и долго жевала ее, то вынюхивала чей-то пахучий след. Получался медленный ход с частыми остановками.

Хозяин порой понукал ее.

— Ну хватит тебе. Все нюхаешь... Зайцев тут нет, — и тут же оправдывал: — Старенькая. Один глаз не видит совсем. И задние ноги немеют.

Шло время. Собачка не молодеда. Ходила, спотыкаясь, часто останавливалась, отдыхая. И от утренних походов рядом с ней я отказался. Но по-прежнему встречались, беседовали. Хозяин сетовал:

— Старенькая... Вожу ее к ветеринару, уколы делаем. Мазью растираю ноги. Массаж. Вроде помогает.

Или иное.

— Ест плохо. Овсянку на курином бульоне варю. В магазине собачий корм покупаю. А у нее зуб болит, десна распухла. Ей больно. Не может есть. К ветеринару ездили. Хотел, чтобы этот зуб удалить. А он говорит: наркоз, но может не проснуться. Годы... Дал мазь. Три раза в день десну мажу. Вроде полегче стало.

Соседа человеком чувствительным ли, сентиментальным не назовешь. Давно его знаю. Начальником он был. Руководитель старого, еще советского закуска. На погляд вроде обходительный, но в делах и поступках жесткий. С людьми разбирался круто. Во времена трудные, в перестройку, он стал состоятельным человеком. Хватка у него железная.

А теперь вот — собака. Забота о ней. Трогательная. Может быть, постарел. К тому же — полтора десятка лет рядом.

В ту пору наш общий знакомый по телефону мне свою беду рассказал, похожую. Его собака ослепла, и на прогулках на все натыкалась, падала. Пришлось ее усыпить.

Соседу при встрече я рассказал об этом.

— Я тоже было хотел, — сказал он. — Когда она ничего не ела. Схудала, одни кости. Купаю ее, мою, а под руками кожа да мослы. Начали мухи ее одолевать. Они же чуют. Думаю, чего она мучается... Позвонил ветеринару. Говорю ему: видно, пора. А утром выхожу, она у порога меня ждет, глядит, гулять зовет. Говорю ей: «Ладно. Будем жить помаленьку».

Жить-то — жить. Но день ото дня, на глазах, собака дряхлая.

— По утрам помогаю ей вставать, — сообщил сосед. — Ноги растираю.

— Тележку ей надо, инвалидное кресло, — посмеялся я. — Для подмоги.

— Я сам вместо тележки, — ответил сосед. — Порой вроде идет, а потом ложится. Поднимаю ее, делаю массаж. Помогает.

Прежде прогулки их были неблизкими: два ли, три квартала обойдут неторопливо. Утром и вечером. Потом вечерние походы отставили. А по утрам гуляли возле дома, вовсе неторопким ходом.

Издали погляжу, подойду поздороваться. Старенькая собачка, старенькая... От бывшей охотничьей лайки, статной красавицы с блестящей густой шерстью, лишь костяк остался с облезлой шкурой. Спотыкается, но идет, с трудом подтягивая задние ноги. Останавливается, на хозяина смотрит.

— Сил набирается, — объясняет тот. — А их вовсе нет. Порою нести приходится. Потому далеко не уходим. Отходились, отбегались. А бывало...

Начинаются рассказы охотничьи. Как зайцев гоняли, ходили на кабана, волков брали. День напролет: в снегах ли, в грязи, в камышовых зарослях...

Я ненадолго уехал, а вернувшись, при утренних прогулках соседа не скоро увидел. Потом встретил. Он был один, без собаки.

— Отходились... — сказал он. — Схоронил. В последний день мы еще погуляли. Правда, два раза поднимал ее. Еле до дома добрались. А утром выхожу, ее нет. Пошел к ней в манеж. Она лежит как-то не так, на боку. Присел, погладил, она живая, теплая. Меня почуяла, открыла глаза и мордой потянулась, смотрит. Посмотрела и закрыла глаза. И все, больше не открывала.

Рассказ был печальный. У меня даже как-то защемило, когда представил, как прощалась лайка с хозяином.

Теперь мы с соседом встречаемся реже. Гуляет он не всякий день, оправдываясь летними делами:

— Абрикосы поспели. На зиму их замораживаю, в пакетах. Огурцы идут, помидоры...

А потом добавляет:

— Раньше поднимусь, дверь открою — она у порога стоит, ждет. Значит, надо идти.

— Может, другую собаку заведете... — сказал я.

— Нет. Другой не будет, — сказал он как отрезал.

Серьезный человек. Знаю его давно.

СОН

Порою мне снятся сны. Хорошие и не очень. Иногда — страшные. Проснешься, вздохнешь: «Слава богу, лишь сон». Но все эти ночные виденья — смутные, исчезающие. Их утром не вспомнишь толком. Вроде что-то видел доброе и даже счастливое. Но заспал.

Недавний мой сон, о котором речь, он особый. Проснувшись, я его

помнил четко, от начала до конца; и не только памятью, но осязаемым страхом и горечью в душе.

Я и теперь его помню.

Снилось мне, что я ехал на поезде с людьми знакомыми, близкими. Ехал и ехал. И вдруг, миновав Москву — именно ее — на какой-то близкой станции вышел из вагона и отстал. Вышел почему-то полуголый, босиком.

Поезд ушел. Я — на перроне в растерзанном виде, без вещей, документов и денег.

Понятно, что поезда мне не догнать; вещи, деньги и документы неизвестно когда вернутся. Единственный выход: близкая Москва, там — родственники, которые помогут.

И началась маята. Дежурный по станции, какие-то еще люди при форме. Объяснение, просьбы... Но даже слушать никто не хотел босого, полураздетого.

В конце-концов оказался я в закоулке возле станции, в кругу бродяг. Они в мою историю поверили. И даже приодели меня: полосатые штаны, шлепанцы, замызганная куртешка — все это очень кстати, потому что вечерело и холодало. Они же — эта нищая братия — объяснили мне, как, минуя контроль, попасть на платформу, к электричке, через дыру в решетчатой, железной ограде.

Пробрался я в электричку. Народ меня сторонится. Это понятно, но непривычно. Укрылся в грохочущем тамбуре последнего вагона. Прижух там, от страха трясся: обнуржат и вытолкнут из вагона. А за окном уже тьма. Но до Москвы добрался.

В отличии от яви, во снах география иная. Оказалось, что от московского вокзала к станции метро, откуда к родным я могу добраться, ведет долгая дорога в людской тесноте и тусклом свете.

Меня, моего нищенского наряда люди сторонились. И это было понятно: полосатые штаны, засаленный клифт, босые ноги в опорках. Но мне так нужна была помощь... Я понимал, что скоро эта дорога кончится и будет метро, в которое меня не пустят. Нет денег. И я пытался сейчас, в дороге кому-то рассказать о своей беде и денег попросить. Мне ведь немного надо: всего лишь билет на метро. А там я пешком доберусь. К родным, к своему спасенью.

Я пытался кому-то говорить: «От поезда отстал... Там — все документы. Мне только на билет...»

От меня отстранялись, ругали: «Отстань, алкашина... Отвяжись...»

Но я снова и снова, со стыдом, через силу пытался объяснить. Торопливо, сбивчиво, на ходу: «Мне лишь на билет... Добраться до родных...»

Но — полосатые штаны, босые ноги...

Мне так стыдно было попрошайничать и так тяжело. Но иного выхода не было. Надо просить и просить. Всего лишь копейки... Иначе я останусь в этой полутьме, а потом в ночи, одиноко. И потому я говорил и говорил.

Ответ на мои бормотанья и просьбы был один: «Отстань... Отвяжись...»

Людей было много: молодые, пожилые и старые. Но никто не хотел меня слушать.

На душе было тяжело и горько. Ведь скоро будет станция метро. Там свет и тепло. Быстрый короткий путь. А потом всего три квартала и я у своих, возле дверей, за которыми мои горести кончатся.

— Я — не бомж. Я отстал от поезда. Мне всего лишь на билет...

В ответ лишь угрюмый, презрительный взгляд или короткое:

— Кши, бомжура!

— Я не бомж, не бродяга. Я — инженер, у меня дом и семья. Я такой, как вы, но попал в беду, — то ли говорил, то ли просто думал я. — Помогите, прошу вас... Пожалуйста, ради Бога...

Косые, равнодушные взгляды, молчанье. Тоскливая тяжесть. Ведь скоро метро, в которое меня не пустят. Тяжкая обреченность. Усталость и горечь.

Людской поток раздвоился, обтекая высокого рыжеволосого человека в клоунском колпаке. Он, смеясь и чего-то крича, разбрасывал деньги. Не бумажные, а простую мелочь. Рыжие волосы, клоунский колпак, радостное лицо, звонкий голос. И горсти монет, летящие во все стороны. Для всех, а значит и для меня. Эти монеты никому не нужны. Только мне. Я начинаю собирать монеты, спеша, спотыкаясь, чуть не падая. Ведь это — мое спасенье, билет в метро.

Снова смыкается людской поток, теперь уже в совсем тесном тоннеле. Я — часть этого потока, спешащий к ночлегу человек, у которого в горсти деньги. Теперь мои беды кончились: будет метро, куда меня пропустят, с билетом. Тепло и свет вагона. Потом всего лишь три квартала, в ночи, но путь для меня известный. И горести мои кончатся. Надо спешить. И я начинаю идти быстрее, проталкиваясь в людском потоке и обгоняя. Надо спешить.

И вот, наконец, тоннель кончается. Но где же метро? Где манящий светом его спасительный вестибюль? Вокруг — лишь просторное заснеженное поле, неподалеку несколько многоэтажных домов, куда спешат люди.

Неужели я ошибся в дороге и не туда попал? Где метро?

— А где же метро? — я спрашиваю у людей. — Мне нужно метро. Где оно?

Уже поздняя ночь. Я в заснеженном поле, босой, полураздетый. Резкий ветер просекает меня насквозь.

— Где же метро? — я уже умоляю.

Наконец, отвечают мне:

— Вот там. Видишь вдали зарево?

Я поднимаю голову и вижу далекое зарево. Путь к нему — через заснеженное поле.

— Да, да... — подтверждают другие люди. — Там метро, — и спешат уйти к многоэтажным домам, в которых горят огни.

Ночь наступила. Мне страшно идти одному через заснеженное поле, к далекому зареву. Стылый ветер. Низовая метель волнами несет снег по черной дороге. Но может кто-нибудь поймет, пожалеет меня и приютит до утра. Так много светлых окон в многоэтажных домах.

Снова и снова я переспрашиваю с робкой надеждой:

— А где метро? Мне в метро?

— Там, где зарево, — повторяют и повторяют мне.

И вот уже последние люди уходят. Я — один. И выбора нет. Надо идти и надо спешить, потому что метро может закрыться и зарево потухнет. И тогда я останусь вовсе один в заснеженном поле.

Я очень устал и замерз. Мне тяжело и горько. Но надо идти. И я начинаю свой путь во тьме к зареву, которое так далеко.

Подступает ужас. Я понимаю, что не дойду, упаду на этой черной до-

роге и замерзну, умру. Но надо идти. Тьма, снег... И уже нет даже малой надежды. Горечь и боль полоняют душу. Ледяной холод. Но надо идти.

И здесь мой сон обрывается. Я просыпаюсь. Но не могу поверить, что позади лишь сон. Ужас не отступает. Снежное поле. Черная дорога. Горечь и боль. Сердце колотится.

Так, наверное, умирают во сне.

Тяжкий был сон. И просыпанье нелегкое, даже в яви. Понимаю всю эфемерность, неправду ночного виденья. Но не отступало горькое: «Почему мне никто не помог...» Сколько людей прошло, и все лишь указывали на далекое зарево. Мне — усталому, полураздетому, в ночи и в холоде, полуживому... Никто не помог.

Проснувшись и опамятовав, я долго не мог, не хотел засыпать, боясь продолжения сна. Так ведь случается.

И даже теперь, через время, мне бывает страшно. Словно это был не сон, а страница жизни моей. Горькое одиночество среди людей и людей.

НОСКИ

И вот, наконец, осенняя слякоть кончилась, пришла зима со снегом, морозами, крепким льдом на реке и озерах.

Настала пора зимние вещи из шкафов доставать: теплые куртки да шубы, шапки и, конечно, обувь — кому какая.

И, как всегда в эту пору, начинались поиски: то одно, то другое найти не могли. Много накопилось всего. А выбрасывать не привыкли. Авось, сгодится.

Хозяин дома в этой суете участия не принимал, лишь подсмеивался и учил: «Потерялось, попросить надо: “Бес, бес, поиграй и отдай”». Но в такую пору была и у него своя забота ли, забава: штопать теплые вязаные носки, которые хранились отдельно, в матерчатом мешочке. Их не надо искать.

Прежде носок было три пары. Теперь осталась одна, последняя.

Этим носкам давно вышел век, но хозяин берег их. В начале зимы доставал и занимался штопкой. Только сам, даже бабым руками не доверяя. Да они бы и не взялись за такое старье. Жена ему говорила:

— Выкинь. Не смейся людей. У тебя — верблюжьи, и новые нашенские, козьи, и с Кисловодска тебе привозили. Роту можно обуть. А он согнулся над старьем, глаза не жалеет.

Так было не раз говорено. Хозяин не перечил, лишь вздыхал:

— Мамочкины, она вязала.

Мама ушла давно. А перед смертью долго болела, в последний год уже не поднимаясь.

Тогда она и вязала эти носки для сына. Целых три пары. Одни — чисто пуховые, от своих еще коз: мягонькие, их на ноге и не чуешь. Такие только дома носить, в обувке они быстро потрутся. Другая пара — овечьей шерсти: тоже теплые, но колкие. А третьи вязались на две ссученные нитки: пуховая и шерстяная. Они и тепленькие, и ноские.

Мама тогда уже плохо видела, и силы — не те. Но вязала и вязала. Старалась успеть.

— Чего ты мучаешься? — говорил ей сын. — Отдохни.

— Нет, нет... Я хочу напоследок тебе носочки связать. Зимой тепло будет ножкам. Вспомнешь меня...

«Вспомнешь...» Господи, да разве можно забыть: серебряная голов-

ка, аккуратно причесанная на пробор, усохшее личико, а глаза добрые маминьы, других таких нет.

Она успела. Все три пары связала.

Это было давно. Пуховые носки истерлись. Шерстяные, грубые, на охоте да рыбалке в сапогах истаскались.

А вот эти — последние: и теплые, и ноские, на долгий срок. Тем более, если беречь.

Он их берег. Но пятка и следок все равно истирались. Пух да шерсть выбивались, оставляя лишь нитяное решето основы. А выбрасывать их он не хотел.

В свою пору, в мамином же наследии, он нашел клубок сдвоенной пряжи: пуховая и шерстяная. А еще — большую, штопальную иглу-«цыганку» с просторным ушком, и гладкую округлую металлическую крышку. Мать на ней всегда штопала пятку, чтобы удобней было.

В первый раз, когда он принялся штопать носки, жена и дочь над ним смеялись:

— Кто теперь штопает? Выбрось... У тебя верблюжьи. И даже из ламы.

Он ничего не отвечал, а про себя думал: «Маминьы лучше».

Позднее жена, глядя, как он не больно ловко иглой орудует, пыталась ему помочь:

— Давай я попробую, вспомню старину.

— Нет, нет... — отказался он. — Я сам.

— Сам, значит, сам... — вздохнула жена, что-то понимая.

Так и пошло, какой уже год. Зима приходит. Начинается в доме колгота, женская, бабья... Добра нынче в шкафах много. Галдят, вспоминают: куда чего клали да вешали.

А хозяин — за свое. В дальнюю комнату уйдет, сядет, разложит обычное: клубок с пряжей, игла-«цыганка», носки... Ношены-переносены.

Не просто, но их можно подштопать. Аккуратно, не торопясь. Спешить некуда и незачем.

Вспоминалось давнее, когда на хуторе вечерами бабушка, мать, сестры занимались штопкой. Не только носки да чулки, но обшлага, локотки, вороты рубашек — все тогда штопалось. Или порой — латалось. Бедное было время.

Он в семье был последним: четвертым, после брата, сестер. Самым малым, и потому возле маминого подола терся.

«Мой сынок...» — вспоминал и будто слышал он ее голос. Маминьы теплые руки, мамино лицо, когда она наклонялась над ним по утрам: «Мой сынок...»

Ни Богом, ни судьбой в своей взрослой жизни он не был обижен: семья, жена, дети и вот уже внуки — жаловаться грех.

Но вот вспомняется мамино: «Мой сынок», и вовсе не горечь, а теплая покойная радость греет душу. А порой даже счастливые слезы поступают. Но воли им он не давал. Все же — мужик.

Мужик, а штопать научился. Дело вроде нехитрое, но как раньше говорили, «мускурное», то есть тонкое и нудное. Проходи ряд за рядом, обновляя вязаное, но истертое. Спицами легче орудовать, чем иглой с хвостом пряжи. Глаза устают, и руки, к игле непривычные, порой как-то вроде немеют, отдыхать приходится.

Но ряд за рядом — обновляя следок носка и даже пяточки; получалось аккуратно.

Можно еще зиму носить. Конечно, не всякий день. Но в стылую пору наденешь эти носочки. Будет тепло и ловко.

Окончив работу, он, вроде на примерку, надел носки и прошелся по комнате. Двери открыл, понял: домашняя суета еще не кончилась.

— Ведь я помню точно! — себя ли, других громко убеждала жена. — Я в старый гардероб ее вешала. Ведь вешала!

На слово случайное вдруг ответила память:

Говорят, я небогата.
Вешала да вешала.
Юбка — в плойку, юбка — клеш,
Какого еще лешего!

Какая она была красивая. Особенно в праздники, в застолье, гулянке.

Белая батистовая кофточка с рюшами. Алые бусы-«корольки». На голове — кружевная, золотистая шлячка.

Веселая, молодая, голос звонкий:

Юбка — в плойку, юбка — клеш,
Какого еще лешего?!

Задорно так пропоет и притопнет. А порою печальное:

В нашей церкви тихо звонят,
Болочка венчается.
Дай, подруга, мертвых капель,
Моя жизнь кончается.

Любого до слезы прошибет. Такая она была, мамочка...

ЧЕРЕПАХИ

Невеликая больница. Нас здесь всего тридцать человек хворых. Два этажа: на верхнем — палаты, на нижнем — процедурные кабинеты, где лечат. Вернее, долечивают после непростых операций. Физиотерапия. Кажется, это так называется. Ванне всякого рода, массаж, лазер, ультразвук, магниты, малые токи. Порой непонятное: «Труба», «Бочка» или что-нибудь вовсе не по-нашенски. Медперсонал — молодые женщины в белых одеждах, приятные, обходительные: «Поднимите ножку... Глазки закрой. Моя хорошая, не спеши...» И даже пациенткам немолодым: «Рыбка моя... Розочка моя...»

Днем в длинном коридоре первого этажа довольнолюдно, хотя и не шумно. Понятно: народ больничный. Потихоньку, туда да сюда, от кабинета в кабинет бредут, порою с отдыхом на диване или опираясь на пристенный поручень. Это — больница.

Вечером все стихает. Пошаркают в кабинетах санитарки и уходят. Вдали за стойкой — дежурная медсестра. Больные в палатах отдыхают на втором этаже, набираясь сил перед завтрашним днем, в котором опять будет лазер, ультразвук и прочее. И еще — надежда, что все это не напрасно. Моя палата на этаже первом.

По длинному гулкому коридору иду в самый конец его, где в невеликом зале стоит бойлер с питьевой водой: краник горячий, краник холодной. Немного цветов, диван да кресло. Здесь и днем нелюдно, а вечером — никого.

Но оказалось, что в этом пустом покое, кроме меня, есть живая

душа — водяная черепаха. Она живет в просторном прозрачном аквариуме. Довольно большая черепаха, величиной в тарелку.

В дни первые я проходил мимо, не останавливаясь, лишь замедлял шаг. Обычный аквариум, вода журчит. Рыбок не видно. Потом увидел черепаху, она лежала на деревянном помосте, над водой. Раз и другой прошел. Она в той же позе. Я даже подумал, что это — муляж, а не живое существо. Но оказалось живое.

Аквариумы в больницах теперь не редкость. Золотые рыбки да сомики. А здесь — черепаха, да еще большая. На мостике она просто грелась, под специальной лампой. Но чаще бывала в воде, в темном углу аквариума. Лишь горбушка панциря ее была видна, если присмотреться.

В один из дней своей больничной жизни, порою вечерней, по пустынному гулкому коридору прошел я, чтобы горячей воды набрать. Черепахи на мостике не было. Я подошел к аквариуму. Было сумеречно. И в темной воде не разглядишь: есть там кто или нет. Может, на ночь ее куда-нибудь отсаживают?

Но черепаха была здесь. Она меня заметила, подплыла и, высунув из панциря голову, стала глядеть. То ли ей голодно было, то ли просто скучно; наткнувшись на прозрачную стенку, она замерла, а потом стала скрести передними лапами по стеклу аквариума, словно хотела быть ближе. Головку она подняла высоко на длинной шее. Тоже в стекло тычется. Черные бусинки глаз в нешироком разрезе глядят на меня.

Я присел рядом, на диванчик.

Вечерние сумерки. Неяркий свет. По углам наливается тьма. Ни звука, ни даже шороха. Черепаха уже не скребет по стенке, а просто глядит на меня. Два одиночества, глаза — в глаза.

В этих стенах мне трудно. Привык я к свободе. Донская степь, просторное небо. Речные, озерные берега и воды.

В последний год получилось по-иному. Но порой малому радовался: невеликий двор, молодые деревья, кусты, огородная зелень, птичьи голоса, а иногда и людские.

Теперь снова — больничные стены. Словно у черепахи.

Но мне, даже здесь, в больнице, полегче: можно выйти на волю. Там — весна, зелень аккуратных газонов. Акация зацветает. Я хожу к ней. Дышу сладким духом. А белые кисти — глазам отрада.

Черепахе — хуже. Тесные стены, малая вода, невеликий мосток, над ним — теплая лампа. Подремать, погреться.

На Дону, на озерах мне часто попадались черепахи: в сетях, в вентерях. Запугается, замотается. Мучаешься с ней, освобождая. Или просто увидишь в береговых заводях, камышах. Черепахи любят воду спокойную.

Такая у них жизнь: вода, заросли рогаза да стрелолиста; тинистые темные заводи, где можно хорошо поохотиться, затаившись в засаде: рыбка ли, головастик, мягкий отлинявший рак; по весне — рыба или лягушачья икра. Покормиться и отдохнуть на мягком илистом дне, набираясь сил перед новой охотой. Счастливые весенние тревоги. Битвы самцов. Долгий сон в зимовальных ямах. Потом — снова весна и теплое лето.

А неволя — вот она: ящик с водой, мосток да лампа. На воле черепахи греются на пологом песчаном, а еще лучше — щебенистом берегу под жарким, порой палящим солнцем в подножье Белой горы. Чистое небо, вода... Не журчание водопроводное, но плеск волны. Речной ли, степной

ветер — пресный, с горчиной полыни ли, чабора — сбивает зной. Белые облака порой наплывают, остужая. И снова солнце. Сияет черный с фиолетовым отливом панцирь.

В больничном стеклянном доме — голый галечный пол, в котором не пороешься, не поладидишься каким-нибудь жучком или червячком.

И вечное одиночество. Словно «строгий режим». Десять ли, двадцать лет — все одно: журчание воды, по утрам — кормежка. И лишь одно развлечение, когда подойдет к аквариуму человек, поглядит или, как я, рядом присядет. Но чаще лишь звуки шагов. У людей здесь непростые заботы — болезнь.

А к вечеру и вовсе мертвая тишина. Мне рассказали, что прежде эта черепаха жила в больничном гараже, куда ее принес хозяин из дома. Там было не очень удобное место. Гул моторов, бензиновый дух, досужее любопытство: пытались кормить ее колбасой ли, сыром... «Глядите, жрет...»

Но потом хозяин договорился с начальством, и черепаху поместили сюда, в больничные покои.

Здесь и впрямь ей покойно. И колбасу никто не сует. Лишь специальный корм, как и положено, в определенное время.

И народ здесь спокойный: подойдут, поглядят. «Мы ее проведываем, — сказала медсестра. — Она знает нас, подплывает».

Вот и ко мне подплывает, перепончатыми лапами по стеклу скребет. Длинную шею вытягивает, головкой о стенку тычется. Вроде хочет поближе. Поближе не получается: прозрачная, но стена. Замирает. Глядим друг на друга.

Красивое создание — черепаха. Пластинчатый коричневый панцирь. Голова и грудка — словно тельняшка: коричневые и яркие желтые полосы. Огромные задние, не ноги, а целые весла, которыми только по просторной воде грести, догоняя добычу. Черепахи плавают быстро. Но здесь некуда и незачем плыть.

Головка у черепахи словно точеная. Могучие надбровья, большие глазницы, но узкий разрез. Черные глазки глядят на меня. Но что там, за ними, в этой маленькой головке? Чудится мне какая-то мудрость во взгляде. Покорность судьбе, но мудрость.

Медленно тянулась моя больничная быль: день за днем. И всякий вечер по пустому гулкому коридору я шел за кипятком, с кружкой; но потом забывал о питье, присаживался на диван возле аквариума. Черепаха словно ждала меня, прерывая свою подводную дрему, поднималась, приплывала, всякий раз вначале царапая лапами стеклянную стену и тычась в нее головкой. А потом замирала. Глядела на меня. А я — на нее. Не знаю, о чем черепаха думала, но мне начинали видаться какие-то вольные дни на Дону, на весенних разлиях: Бугаково, Намище, Бурунистое, Песчаное. Ясные дни, светлая теплая вода, когда на меляках да в малых протоках бьется, мечет икру вольная рыба. Щуки, лещи, сомы да малая бель. Тяжелая пузатая сазаниха, словно подводный крейсер, выказывая из воды спинной плавник — кабаргу, рассекает мелкие воды в окружение эскорта сазанов-молочников.

Многое мне вспоминалось. А вот черепахе от прежней жизни, может быть, виделся первый дом ее в какой-то квартире, где возле нее кружились ребятишки. Дивились, радовались новой игрушке. А потом остыли. И квартиру сменил темный гараж с гулом машин, от которого хотелось

спрятаться глубоко под воду. Но тишина приходила лишь ночью. Людские руки, которые вынимали ее, рассматривая. Спасенье — панцирь, в защиту которого черепаха прятала голову, ноги. И замирала.

А потом, наконец, нынешнее: тишина, покой — теперь, может быть, навсегда.

Черепаха глядела на меня сквозь стекло аквариума. Может быть, и у нее в малой головке гнездились что-то подобное обо мне. Я жалел ее, а она — меня.

Порой у меня возникала мысль о спасенье черепахи. Забрать и на волю выпустить в какой-нибудь пруд городской. Это дело несложное.

Такая мысль возникала. Но остужало иное. Мы ведь тоже, в городской своей жизни, словно эта черепаха, бывает, и век векуем: стены да стены, потолок да пол, да оконное стекло для радости, чтобы на белый свет глядеть.

Может, и черепахе ее нынешняя жизнь по нраву: покойно, тепло, сытно.

Читал я, что водяные черепахи в неволе дольше живут. Сорок да пятьдесят лет. А порой и более. В природе, на воле двадцать ли — двадцать пять. Но кто эти годы считал? К тому же орлы да коршуны, собаки, шакалы их век укорачивают. От зимней спячки, подводной, порою они не просыпаются, замирают. Видел такие кладбища по весне. Вот и выбирай судьбу. Какая лучше...

С черепахой мы виделись каждый день. Вечерами. Днем — заботы большие. Если и приходил за водой к бойлеру, то не задерживался. Лишь издали брошу взгляд.

Надо сказать, что в этом невеликом зале в рабочее время была еще одна живая душа — молодая женщина, которую я не сразу заметил. Из-за высокой канцелярской стойки выглядывала лишь маковка гладкой прически. Любопытствуя, я заглянул за стойку, убедившись, что там живой человек — молодая миловидная женщина небольшого росточка. Поэтому и не видно ее.

Белая стойка надежно укрывала ее рабочее место: компьютер, клавиатура. Листы бумаги шуршат, из принтера выползая. Тихая служба. Чистота, тишина; летом — прохладно, зимой — тепло.

У черепахи — похожее тепло, покой, сытость. Так что спасать ее или не спасать — тоже вопрос.

Так и не решив ничего, я отбыл больничный положенный срок и уехал.

Сначала недолго жил в городе. Наскучав по воле, много гулял. Слава богу, место у меня спокойное и зеленое: берег Волги, машин нет.

На первом этаже нашего дома с недавних пор поселилась новая контора, довольно серьезная. Таблички с названием нет. Вместо нее — символ: откушенное яблоко. Стена прозрачная. Вся жизнь на виду. Конторский народ сидит за компьютерами. Рядами и друг за другом. А в конце зала — площадка над потолком. Там, видно, начальник, и у него, как на ладони, — подчиненные.

Когда не пройдешь — все к экранам приникли, руки — на клавиатуре. Такая работа.

Мне почему-то недавнее, больничное вспомнилось: черепаха и молодая женщина за высоким барьером конторки. Две живые души в тишине и покое.

А здесь за прозрачной стеной много людей. Молодые женщины. Каж-

дая в своем кресле. Не ходят, не бродят, сидят, работают. А сверху — надзор начальственный. День напролет.

Прохожу мимо. Гляжу. Понимаю, что работа у них современная. «Айтишниками», кажется, их называют. Слышал, что хорошо им платят.

Но, на мой взгляд, в такой жизни завидного мало. В свое время я долго работал на заводах. Там было нелегко. Но здесь, за стеклянной стеной, по-моему, тоже несладко.

Недолго в городе пробыв, я, еще по весне, уехал в поселок.

Пришло теплое лето. Заглядывают мне в окно высокие цветущие мальвы. По утрам горлицы стонут, день напролет воробьи чирикают.

Время сейчас для рыбалки не очень способное. Высокая вода. Рыба разошлась на разлои — затопленные луга, протоки, старицы да низины. «Июль, июнь — на воду плюнь!» — рыбацкая поговорка.

Но — нетерпез. Поехали как-то за травой: чабором да зверобоем. Но рыбацкие снасти — в багажнике.

За Набатовским хутором, на малой речке с милым названием Голубая, решил я закинуть удочку, на берегу посидеть. Здесь место приглядное. Позади — просторный луг с фиолетовым шалфеем, розовым горошком, синий василек-цикорий полянами, словно голубыми озерами, зацвел.

Зеленый затравевший берег, старые ивы, к воде склоненные; за речкой меловые обрывы Львовичевой горы сияют под солнцем. Из Набатовской лесистой балки да от Красных яров — прохладный вей.

Сижу да сижу. Поплавок не шелохнется. Но тут, рядом с ним, из глубины поднялась большая черепаха. Голову из воды высунула, потом всплыла, сияя под солнцем черным, словно вороненым панцирем. Поняв, что красный поплавок — не ее добыча, она еще недолго оставалась на виду: пластинчатый панцирь, перепончатые лапы-весла, аккуратная головка. Недолго погрелась и стала уходить вглубь.

В прозрачной скляни, под солнцем она долго и ясно была видна — вольная птица.

Я вспомнил свою больничную подругу — красноухую черепаху. Аквариум, журчанье водопроводной воды, мосток с электрической лампой над ним. А в двух шагах от нее — молодая женщина в затворе канцелярской стойки: компьютер, принтер, шуршание листков бумаги.

Конечно же, разные, но такие похожие жизни.

СТАТУЙ

По возрасту и здоровью пришлось мне нынче лечиться в больнице. Вначале поехал я туда налегке, чтобы определиться: надо — не надо... Больница незнакомая, но все я отыскал быстро, как мне объяснили: главный вход, а сразу за дверями — лестница, ведущая на второй этаж. Там нужный кабинет.

Встретился с врачом, поговорил. Сказано было: «Надо», и назначен день, когда в тот же кабинет придти, но уже, как говорят, с вещами.

В назначенный срок я прибыл с помощником, который немалую сумку тащил с нужным и ненужным для больничной жизни.

Дорога уже знакомая: главный вход, там в двух шагах лестница, ведущая прямо к нужному кабинету. Не заплутаешься.

Дорога знакомая, но случился затор. Перед входом возле дверей нынче стояла охрана: рослая женщина в черном форменном наряде, брюки и

куртка с какими-то шевронами на рукавах и груди. Словом — охрана, которая нас остановила:

— Вы куда?

— Сюда, — объяснил я. — Вон по той лестнице, там кабинет. Приглашение... — протянул я бумажку, на которой было написано нынешнее число, время и номер кабинета.

— Не положено, — четко произнесла женщина. — Идите вон туда... — указала она. — Это здание обойдете, потом другое обойдете. Там будет вход.

— Зачем обходить? — удивился я и указал через прозрачную дверь. — Вон лестница, два шага... Мне — туда.

— Не положено, — так же четко было повторено. — Идите в обход.

Понял я, все понял. Это была не женщина, это была «охрана». Черная, считай, военная форма с шевронами ладно сидела на могучей фигуре с хорошим рельефом спереди и сзади. А лицо — обычное, даже приглядное, никакой суровости, вот-вот расцветет улыбкой и услышу: «Ладно, проходите...»

Поэтому я еще раз попытался объяснить:

— Зачем обходить... Здесь — рядом, два шага всего. Пожалуйста... — попросил я.

— Не положено, — повторила она с расстановкой и твердо, чтобы было совсем понятно: на посту человек, охраняет, доверено ей.

Молодой мой спутник понял ситуация раньше меня.

— Пойдем, — сказал он.

— Пойдем, значит, пойдем, — вздохнул я, еще раз через стеклянную дверь поглядев на ту желанную лестницу, к которой стремился.

Пошли, обходя один большой корпус, потом другой, не меньший. Здесь даже ездил невеликий электромобиль. Но ждать его мы не стали. Дошли пешком, и здесь на входе в просторном холле стоял охранник: мужчина в такой же черной форме, с шевронами.

К нему я и обратился, показав приглашение с номером кабинета.

Он прочитал и сказал:

— Вам надо бы напрямую идти, через главный вход. Там — рядом.

— Мы хотели, — объяснил я, — но охранница нас не пустила. Сказала, что не положено.

Охранник вздохнул и промолвил короткое, скорее для себя: «Дура». А потом долго объяснял, как нам пройти через первый корпус, по каким этажам и лифтам, а потом через переход во второй корпус. А там спросите у кого-нибудь, вам подскажут.

Добирались мы и впрямь непросто: коридоры да лестницы. Но с подсказками добрались до желанной лестницы.

У подножья ее, отдыхая, я взглянул на стеклянную дверь, к которой мы подходили снаружи. Там на своем посту стояла «охрана» — рослая женщина в черном. Некогда было постоять, словно по команде «Смирно».

— Статуй... — определил я вслух и стал подниматься по лестнице, которая вела меня еще неизвестно куда. Это — больница.

«МАТЫ ОТСТАВИТЬ!..»

В середине летнего дня на нашем вокзале автобусном, «междугородном», наступает затишье. Городок небольшой. Лишь по утрам в областной центр на работу да на учебу уезжает народ. А потом наступает тишь. Полупустые «маршрутки». Народу мало. В такие часы я обычно и езжу.

Но в тот день все было по-иному.

Как я понял, куда-то на новое место службы убывали молодые «контрактники» из нашей воинской части. Одни убывали, другие их провожали. Шумно галдели те и другие. Голосистые ребята. И такой мат стоял, что, как говорится, хоть шапку вешай. Они вовсе не ругались меж собой. Даже напротив: какие-то слова расставания, дружбы. Но эти слова так густо были пересыпаны матерщиной, что иное тонуло. Сплошная «мать-перемать» лилась из молодых здоровых глоток.

Поспешил я спрятаться в салоне автобуса. Здесь было потише.

Но подошел срок, и молодые военные хлынули в автобус, рассаживались, так же перекликаясь, смеясь.

Поехали. Но тише не стало. Из конца в конец салона летели слова, сплетаясь в общий гомон, все так же пересыпанный густой матерщиной.

Ученых учить — дело скучное. Но и весь долгий путь слушать такое несладко. Открыл было я рот, но меня опередила женщина.

Она громко сказала:

— Перестаньте материться! Ведь кроме вас тут люди едут.

Ее услышали. Последовала четкая команда от старшего группы:

— Маты отставить!! Не в казарме!!

В салоне автобуса стало тихо. Потом, после затяжной, вовсе мертвой паузы какой-то, уже спокойный, говор пробился. Попытались военные о чем-то говорить меж собой, но спотыкались, выполняя команду «Без матов». А без них без «матов» речь не клеилась. И понемногу вовсе заглохла. Так мы и ехали в тишине до самого города.

Еще одно совсем недавнее. Во время эпидемии «ковида» городская наша баня была закрыта. А частные, невеликие, потихоньку работали. В одну из таких я порой ходил. Круг тесный: четверо ли, пятеро бывших руководителей района — глава да его заместители. Люди свои. И разговоры свои, о бывшем и о сегодняшнем: погода, сады-огороды, здоровье, нынешние порядки.

Невеликая парная, как раз для тесного круга, бассейн с теплой водой, душевые, просторная раздевалка, спокойные разговоры. Славное времяпровождение.

Но порою появлялся там мужичок горластый. Тоже из бывших начальников. Его часто прорывало. По любому поводу. И тогда шум и гром начинался, потому что спокойно говорить он не умел. Характер такой, горячий. И привычка. Сельский руководитель. Все ступени прошел колхозно-совхозные. Голос зычный, а в речах сплошной мат-перемат. Для убедительности.

— Погода... Мать-перемать, — громыхал он. — Дождика... Мать-перемать!.. Озимка... В бога мать!

«Дождика озимой пшенице надо», — хотел он сказать, но добавил впятеро больше слов матерных, чтобы до всех дошло. Об урожае ведь речь.

Вначале, когда я лишь прибил к этой кампании, кто-то пытался урезонить говоруна:

— Меньше матерись. Писатель послушает...

Но разве убедишь? Это — натура.

Долго живу я. Навидался, наслушался всех и всякого. И казалось бы... Но нет. Режет матерщина слух. Нет к ней привычки.

Помню детство, юность. Семья наша — обычная. И рядом жили: Кузьмич — судовой механик, Петр Семенович — печник, тетя Паня — банщица, другая соседка — уборщица. Как говорится, простой народ. Но

матерщины от взрослых я не слыхал, даже от выпивающих: Гена-пожарник, Коля Трешка...

Какая ругня, ссоры семейные, соседские, порой шумные, конечно бывали.

— Капля ты и есть капля! — часто ругала своего мужа тетка Фрося. — Шалаешься, как варяга... Лихоман тебя забери!

В бабьих ссорах было много всего: «Рахманка! Подтынница! Чапура длиногачая! Лазутка! Мидилянша! Чума лупоглазая!» И даже пожелания грозные: «Игрец тебя заломай! Доху на тебя нет! Чтоб ты усохла в мышинные черева! Черная боль тебя забери! Расстрели твои нутри!»

«Оголтыш! Прокуда! Анчибил!» — и даже: «Сатаново дите!» — это к детворе непослушной.

А слова матерные приходили с улицы, от ребячьей среды. Порой такими словами щеголяли, стараясь казаться взрослыми. Но подросли — и ушло.

Поэтому нынче, когда услышу матерщину, как-то неловко делается.

А порой — просто больно.

Недавно прикатил я на велосипеде к Дону. Посидеть, поглядеть. Дело весеннее. Деревья в молодой зелени. Понемногу вода прибывает. От реки — свежесть. Мягкий низовой ветер. Рыбаки с удочками. Их немного.

В тихом заливе рыбачат молодая женщина с мальчонкой. Ему пять ли, шесть лет. Мама — с удочкой и сынок — с удочкой. Мир и покой. Как и положено возле проторной воды.

Но тут вываливается из вербовых зарослей мужичок, видно, глава семьи, и орет.

— В бога, в креста... Вы, в бога мать, почему машину не закрыли. Я далеко ушел, а вы, в рот вас...!!

Женщина пыталась как-то оправдаться; мальчонка голову опустил, слушал.

И что-то разом изменилось в мире: притух светлый день, низовой ветер подул сильнее, резче, напомнив, что нынче весна поздняя. Когда еще потеплеет...

БЕЛЫЙ ПОКОЙ

Конец декабря. Всю ночь шел снег. И потом — весь день — сыпал и сыпал. Не хлопья и не крупа, но мелкая сухая пороша. Мир вокруг — светлая невидь: белая земля, белая зыбь вокруг. Ни звука, ни шороха. Белый покой.

Дон, воды его в глухом ледовом и снежном затворе. Задонские холмы еле видны и порой тонут в белой мгле. Фигуры рыбаков на льду замываются белью, вот-вот исчезнут.

Тишина. Глубокий пушной снег. Шаг мягкий и следа нет. Словно не идешь, а плывешь в белой живой зыби час и другой. Время теряется, нет его. И вместе с ним ушло все житейское: горести, радости, свое и вселенское.

Все ушло, утонув и развеявшись в белой невиди. И, кажется, грезится, что в мире нет ничего, кроме этого часа. И потому надо шагать и шагать, плыть и плыть, все более растворяясь в белом, уже неземном, но вечном покое.

УТРЕННИЕ БЕСЕДЫ

В возрасте моем, преклонном, одна из летних радостей — в утренний час обойти свой двор с его молодыми деревьями, огородными грядками да цветочными клумбами.

В мире — тишь, лишь воробьи проснулись — ранние птицы; ничто не мешает неспешному походу, осмотру и мысленному, а порою вслух разговору.

В поселке у меня — все меньше знакомых, а друзей да родственников: на скупой перечет. Возраст: уходят или безвылазно по домам сидят, потакая стариковским хворям. Родные лишь вечерами приходят, чаще насаском. Потому и беседую со всякой дворовой живностью.

Вот стоят рядом две вишенки. Уход одинаковый: полив да подкормка. Но одна радуется ростом, молодыми побегам. Я ее похваляю: «Молодец, стараешься». А соседка ее молчит. Посадила по весне, прижилась, листва зеленая. А роста не вижу. То ли сил набирается, то ли хворает. Нет у нее роста.

Укоряю: «Чего тебе надо? Так и простишь все лето».

Вишенка сокрушенно молчит.

Зато воробьи поднимают гвалт: какая-то ссора у них. Я их мирю:

— Кыш! — говорю. — расшумелись, цыгане... Летите червяков собирайте, а не ждите подачки. Не зима...

Воробьев и впрямь во дворе целый табор. Не гонял их с весны, они и расплодились. Галдливая птица. И мусорят, лишь успевай убирать. Поневоле вспомнишь ласточек. У них всегда порядок: под гнездом чистота. Аккуратные птицы. Во дворе старого дома было у них три гнезда: в коровьем стойле, под застрехой летней кухни и на веранде, где я летом спал. Прямо над головой у меня лепили гнездо, высиживали, а потом кормили пискливых птенцов, поднимали их на крыло. Вечерами сидели возле двора на проводах, щебетали. Все их любили, ласково называя касатушками. Но теперь ласточек в поселке нет. Они лишь на хуторе, где скотина.

Сорок теперь тоже нет. В прошлые годы где-то рядом одна пара жила. Они ко мне прилетали по утрам, пили воду из бака. А потом, видно, в благодарность, сажались на забор и стрекотали, сообщая поселковые новости. Не зря же сороку зовут у нас «вестницей». Красивая птица. Но нынче сорок нет. Скучаю по ним.

Спасибо, что рядом скворцы поселились в дупле старого клена. По весне они голосили с захлебом. Потом притихли, выводя птенцов. А теперь снова по утрам с восторгом поет скворушка, взмахивая крыльями. Рассказывает, каких молодцов он вырастил. Четверо было скворчат. Они уже улетели. А мамка, видно, снова на гнезде сидит.

— Пой, пой, — говорю я ему. — Скоро опять будет не до песен, многодетный...

Поет... А я молодые яблоньки оглядываю. Они уже — старожилы. Дом еще строился, по осени их посадили. Прошлом лето они трудно приживались. А нынче пошли в рост. И даже цвели. Теперь по десятку яблочек на каждой.

Подбадриваю их: «Наливайтесь...» И берегу от гусеницы-плодожорки, развешивая пучки пахучей полыни. А еще — от надоедливой тли, зеленой да черной, которую муравьи размещают на свежем молодом приросте, на ростовых почках. Для них тля — дойные коровки. Для молодежи — погибель. Не будет роста.

По весне каждое утро боролся с этой заразой. И теперь приглядываю. Деревья молоденькие, но хочется, чтобы побыстрее росли. Нетерпение. Может быть, потому что мой собственный срок отмерен. А деревьям еще расти да расти.

Так и бреду от дерева к дереву, от грядки к другой. Цветут и завязываются огурцы, кабачки. Как их не похвалить. Малые помощники — шмели да пчелы — гудят осторожно, тишину не тревожа, кормятся на огуречных цветках, на высоких бокалах кабачкового и тыквенного цвета.

А уж когда подсолнухи зацвели, начинается праздник великий. В просторных под солнцем сияющих шляпках — вся тварь летучая. Звенит и гудит. С довольным урчанием на золотистой поляне возятся полосатые шмели. Рядом — пчелы, бабочки, мухи-жужжельки. Всем здесь места и корма хватает, словно в раю. В желтой пыльце купаются, набирая обножку, сладкий нектар сосут. Улетая, гудят тяжело, нагружено. И снова возвращаются. А порой тут и ночуют — в мягкой пахучей сыти.

Ранний утренний час. Огородная да садовая зелень — глазам и душе отрада. Солнце лишь поднимается. Впереди его долгий и жаркий зной. А теперь — прохлада. Дышится, живется легко, час и другой. Надо полить огурцы. Это нетрудно: из бака с водой, несколько ведер.

И можно дальше брести по невеликому саду-огороду и палисаднику, где зацвели пахучие петунии и высоко поднялись стройные мальвы. А рядом — бархотки, астры и даже четыре куста роз. Все не спеша растет и цветет в свою пору, радуя хозяина и редких уже гостей. Разве не приятно услышать: «Как у тебя хорошо... Много всего...»

Это не у меня, это — у нас, на земле хорошо в нашей недолгой жизни. Много всего... И порой скользит невнимательный взгляд в суете житейской, не замечая земной красоты: дерева ли, травы, цветка, утреннего светлого часа. А порой — человека.

Вот он — простой пример. Тыквы у меня второй год хорошо растут. Расплетаются, и урожай немалый. На целую зиму себе и людям хватает. И вроде я их не обхожу стороной: поливаю, приглядываю, радуюсь завязи.

Но летом нынешним, в один из дней, вдруг остановило меня, казалось бы, обычное. Солнце еще невысоко, от забора — тень. И в этой тени над листьями плети — цветок тыквы: высокий зубчатый золотистый бокал. Вроде за жизнь я их видел и перевидал. Тыквы да тыквы. Растут и цветут, слава Богу. Но нынешним утром в тени, гордо возвышаясь над зеленой скатертью листьев, цветок поразил меня густым золотисто-желтым тоном. Рядом — подсолнухи. В их шляпках — слепящая желтизна, солнечной сродни. А здесь, в тени, — словно свеча кроткая, но дивный цвет источающая.

Я остановился, глядел и глядел на эту красу, которой прежде не замечал. Ведь не роза, не тюльпан, а всего лишь простой тыквенный цвет — земное диво, одно из многих в моем невеликом дворе. Стоит лишь приглядеться.

О другом, но похожем. В далекую от нас Испанию, в Кордову миллионы людей приезжают, чтобы увидеть чудо архитектуры: мавританский стиль дворцов и храмов, в которых изящные, вроде бы хрупкие колонны держат немалый груз просторных кровель. Я там бывал. Любовался и удивлялся. Но подобное чудо, оказывается, давным-давно было рядом со мной.

Мне нравятся осы. Ярким праздничным нарядом, желтым с черными полосами; удивительной статью, легким полетом. И, конечно, — тру-

долюбием. Свои гнезда — соты — они строят из бумаги ли, картона, который производят сами. Пчелам человек помогает, выставляя в улей рамки с вощиной; птицы выют гнезда из веток, соломин, глины, шерсти да пуха. А осы усердно скребут всякую древесину, смачивают ее слюной, пережевывают. Получается хороший строительный материал. Их по-научному и называют: «бумажные» осы. Для науки — «бумажные», а для нас — просто летучая живая тварь, одна их многих, которые рядом. Соседи.

Кто-то их боится: больно жалят. Пытаются травить всякой гадостью, со двора выгоняя. Но если не трогать ос, не зорить, не махать руками ли, веником, они никого не тронут. У них своя жизнь.

Правда, порою летней, когда поспевают абрикосы, виноград, арбузы, осе нужно опасаться. Разрежешь арбуз ли, дыню, они тут как тут.

Осы мне всегда нравились. И жили мы с ними мирно. В старом доме они лепили свои гнезда на чердаке, в месте укромном. В новом — где-то в сарае устроились, под крышей. Их обычное — соты: плоские, иногда бугристые, с надежным жильем для матки. Но прошлой осенью я увидел иное.

В старом гараже, куда я все лето не заглядывал, под потолком висел коричневый шар величиною с футбольный мяч. А вокруг него — гул встревоженных ос. Убрался я из гаража подобру-поздорову. И вернулся лишь поздней осенью.

В эту пору все осы уже замерли, то есть погибли: недолг их летний век. Осиное гнездо — большой коричневый шар — я осторожно срезал с потолка. И уже дома в своем дворе стал разглядывать его и удивляться.

Шар на полюсах приплюснут. Оболочка, когда вскрыешь ее, — будто кочан капустный: слой за слоем — тончайшая прозрачная бумага, папиросная, как прежде говорили, а наглядней — луковая шелуха. Коричневатый цвет, грубоватая, с рисунком, текстурой древесины. Явно не фабричной, а свойской работы. Потрудились осы. Слой за слоем бумажные листы наложены, образуя шар. А слоев этих — не десять, не двадцать, а, наверно, сотня ли, более, а все вместе получается — шуба, надежный укрыв от холода ли, жары, не природой подаренный, как у лука ли, капусты, но осами созданный. Они скоблили древесину, пережевывали ее, смачивая слюной или водой, получая невеликий листок, из множества которых и создавался этот шар — осиное гнездо ли, дом, в котором все лето кипела жизнь.

А внутри этого шара, под серым покровом — настоящее чудо.

Дворец — по-иному не скажешь. Десять строго горизонтальных этажей осиного жилья: от основания до вершинной шляпки. Каждому этажу в поддержку — легкие колонны.

Это строение, спрятанное под надежным укрывом, ошеломляет. Не сразу веришь глазам.

Тогда вот и вспомнилась испанская Кордова, храм Мескита, королевские конюшни, где поразили меня именно изящные легкие колонны, поддерживающие своды. Мавританский стиль: талантливые архитекторы и строители. Потому и осталось в веках. А здесь — только осы. Своим трудом и разумом. Именно так.

Без чьей-то помощи и подсказки: сотовые террасы, строго горизонтальные, этаж за этажом... Представляю, как это создавалось. Когда первая терраса готова, встают, созидаются будто бы хрупкие изящные колонны, на консолях которых строится следующая терраса геометрически

четких шестиугольных сот. От этажа к этажу, десять террас... Без архитекторов, геодезистов, теодолитов и прочих специалистов и техники.

Только своим умом и трудом этот дворец построили осы. Вот эти малые создания в черно-желтом наряде.

Где и как в этой крошечной черной головке с длинными усиками прячется мудрость, позволяющая создать такое чудо?

Теперь я гляжу на ос даже с какой-то опаской. Это не просто насекомое. А что-то иное, для нас непостижимое. Может, вровень, а может — и выше нашего разума.

Такие вот у меня нынче соседи: осы, муравьи, галдливые воробьи, болтливые сороки и, конечно, молодые деревца да огородная зелень, цветы.

Нынче пришло новое лето. Тихая живая жизнь. Из малых семян: огуречных ли, тыквенных, а то и вовсе крошечных, помидорных, морковных — в подземной тьме оживают, пробиваясь из панцирной скорлупы, нежные ростки, выглядывают на божий свет, растут, крепнут. И вот уже расплозаются по двору огуречные, тыквенные плети, раздвигая листья которых, словно духнут тяжелые тыквы порою в тележное колесо величиной. Из малого семени... Поднимаются помидорные кусты, силой своей созидавая и отягчаясь алыми, розовыми, красными плодами, серебряными на разломе, сочными и сладкими.

Живая жизнь. Она удивляет и даже поражает: из малого семени — и такое чудо.

Порою стоишь, думаешь... Но эти думы — пустое. Ты ведь и сам — из малого семени. Один из многих... Так что не помышляй. «Сколько много всего!» — возглашал когда-то малый внук Митя. И это всего лишь на моем дворе — малой малости земного мира.

Но вот уже и позднее утро. Жаркие, знойные дни стоят — донское лето. Но сегодня мягко дует северный ветер. На небе — облака и даже сизые тучки. Второй уже месяц ждем дождя. Солнце поднимается, припекает. Но в тени хорошо сидеть. Поселок просыпается. Услышал негромкий дремотный звон ли, гул. Огляделся, понял. Это рядом, на длинной полоске возле дома, на красных да белых цветах ползучего портулака, по нашему — «солнышка», кормятся пчелы, шмели да осы. Бог им в помощь.

И мне пора к завтраку. Завершается еще одно летнее утро на этой земле.

